

## *ЭЛЕГИЯ ПЕРВАЯ*

Верить ли, снова сквозь полупрозрачные облака  
рассиялось бельмо луны ртутным светом, Господне око.  
Жизнь ли сужается, как замерзающая река,  
и становится твердью заснеженной, одинокой?

Или же кругозор налима, по глупости вмёрзшего в лед,  
сжимается? Или ревниво рыбак проверяет снасти  
для подлёдного лова? На автопилоте крейсирует ночной самолет.  
В старости, говорят, утихают страсти:

лакомишься карамазовским коньячком со льдом,  
переживаешь, что нет писем от взрослого сына.  
Прибывает житейская мудрость, обустривается дом,  
подрастает высаженная осина.

Помнишь, был такой пожилой персонаж из отдаленной земли  
Уц? Неудачник, зато непременный участник очных  
ставок с Богом. Выздоровел от проказы. Перестал валяться в пыли.  
Обзавелся новой семьей и т.д. - смотри известный первоисточник.

## ЭЛЕГИЯ ВТОРАЯ

Из прошлого мне что-нибудь сыграй,  
скрипач слепой, напхни милый край,  
стишок слезливый, писанный по пьянке,  
бычки в томате, детский анекдот,  
стакан, гитару, да горбушку от  
шестнадцатикопеечной буханки

с уральской солью, с постным маслом, да.  
Сколь молоды мы были, господа,  
сколь простодушны были и невинны,  
сколь сладко задыхались, влюблены,  
от красоты и дивной глубины  
очередной Ирины или Риммы!

Тихонько спит прошедшее навзрыд,  
лишь время негорючее коптит  
в светильнике умершего поэта,  
как масло постное. Ах, нищие, народ  
тревожный – пьет, а денег не берет –  
наверное, монах переодетый.

И вдруг прошепчет: честно говоря,  
кто саван шьет – тот трудится не зря,  
так строил фараон на радость сёстрам  
свой гроб, и пел предутренний петух,  
усваивая вечность не на слух,  
а зрением и опереньем пёстрым

### *ЭЛЕГИЯ ТРЕТЬЯ*

Дом: этажерка, кролик, фикус. Не низок, хоть и не высок.  
В ладошке яблока огрызок, а в небесах наискосок  
летают пламенные стрелы, и мать младенцу говорит:  
не плачь! Не звездочка сгорела, а так, простой метеорит.

Давно и дома нет, и звезды скудеют с каждым днем, пока,  
клубясь, переполняют воздух раскатистые облака,  
под осень мама моет раму, и мы с сестрицею глядим.  
Сухой листок, как телеграмма, летит бульваром золотым.

Нет, не смешно, скорее просто. Резец, орган, крысиный хвост  
от колыбели до погоста, под светом падающих звёзд,  
небесной сволочи бродячей. Кому пиковый интерес,  
кому гоняться за удачей – светло, а времени в обрез.

Как ларчик из крыловской басни, как монтекристовский сезам,  
дар памяти ещё прекрасней, чем ночь, отпущенная нам.  
Но что и вспомнишь – так неточно, нечётно как-то, сгоряча –  
пустой листок депеши срочной, печать ночного сургуча

## ЭЛЕГИЯ ЧЕТВЕРТАЯ

*«На Венере, ах, на Венере у деревьев синие листья*

»

*Николай Гумилев*

Удлиненные тени событий и вещей, голосов, чаепитий  
поздних, голуби, вещие сны, дальний грохот гражданской войны.

Нет, не граждане мы – горожане, мяли кожу, ковали, дрожали  
над младенцами – вдруг дифтерит? Как же ярко Венера горит,

там лишь ангелы, дети малые, ни Дзержинского там, ни Троцкого,  
а на елках иголки алые, а в музеях картины Бродского,

водопады, ручьи, лечебная валерьяна, скрипка, пирожного  
благоухание, словом, волшебная философия невозможного.

Все исчислено и измерено. Толку нет от мертвого мерина –  
травяной мешок, волчья сыть – ни стреножить, ни воскресить.

## ЭЛЕГИЯ ПЯТАЯ

Запах горелой резины серые птицы одни  
что за бесснежные зимы что за короткие дни

что за январь неохотный распространяясь окрест  
будто дошкольник бесплотный хрусткое облако ест

сколько ни шарь по карманам нету мобилы увы  
славно лежать полупьяным в вежливых лапах москвы

столько нашепчет историй и подростковых забот  
сколько друзей в крематорий микроавтобус свезет

хрип постаревшей пластинки леннон а может булат  
организуем поминки водка селедка салат

веруя в родину эту в немолодую родню  
выпью расплачусь лишь свету вечному не изменю

словно незрячий ошупал жизнь и сказал неплоха  
кладбище звездчатый купол храма у вднх

там же где богоугодный меж гаражей вдалеке  
бродит январь безработный с кроличьей шапкой в руке

## ЭЛЕГИЯ ШЕСТАЯ

Пора, мой друг, пора. Я Пушкина листаю.  
Четвертый час утра. Элегия шестая.  
Поморщусь, закурю, и выдохну привычно:  
печаль моя мутна и ночь косноязычна.  
Вопит во сне вдова, на свадьбе шут рыдает.  
подснежник радуется, и тут же увядает,  
играют радугой разводы нефтяные  
на лужах городских. О чем ты хнычешь ныне,  
неблагодарный раб? Кому ты так глубоко  
завидуешь? Кому светло и одиноко?

Ах, мышья беготня. Уже пробили зорю.  
Запахнет серый свет бродящею лозою,  
и дымом – свежий хлеб, не душистым, а сосновым,  
и спросят мёртвого: «не грустно? не темно вам?».  
Лимоном, лавром, друг, точнее, лавровишней.  
Давно ли вечно жить нам обещал всевышний?  
Но это было там, в других краях, где горе  
топили юноши в арабском алкоголе,  
и пела под дождем красавица чужая,  
грядущей тишине ничем не угрожая.

## ЭЛЕГИЯ СЕДЬМАЯ

Л.С,

Все кажется – вернусь, и станет все, как было,  
на Малой Бронной, где теперь сугроб  
(как я тебя любил, как ты меня любила!),  
аптека и кофейня. Жизнь захлёб.  
И будет нам тепло среди зимы косматой:  
подпольный Галич с плёнки запоем,  
и кухню полутемную зальет  
люминесцентный свет продолговатый.

Любил-то я тебя, а был влюблен в одну,  
другую, третью, и сердился, право,  
когда ты выговаривала: ну,  
ты, мальчик мой, неправ, а впрочем, слава  
Создателю: он сам – творенья часть,  
то сдвинет ось земли, то сам себе дивится,  
то посылает всякой мрази власть,  
то глупость - юношам, то молодость – девицам.

Кончается благословенный век мой.  
Ты умерла, (а я не поумнел),  
но все смеешься, пепел сигаретный,  
как бы профессор с тонких пальцев – мел,  
вдруг стряхивая в оранжевое блюдце.  
Нет, не вернусь. Ушедшим не проснуться,  
лишь Патриаршие сверкают инеем,  
и небо черное, и светло-синее

## ЭЛЕГИЯ ВОСЬМАЯ

Ах, как смешно ты мечешься, голубчик, в рубашке клетчатой, в сиреневых носках.  
в штанах (вельвет песочный в мелкий рубчик), с зачитанным Овидием в руках.

Не нам воспрять - лишь ангелам, вернее, созданиям, не знающим стыда –  
мы выцветаем, глупый мой, бледнеем, а то и вовсе пропадаем, да.

Не возвратит заоблачный охотник оброненного в черных подворотнях,  
в года, когда с отточенной тоской свет теплился в столярной мастерской

на первом этаже замоскворецком, на сельском кладбище, в евангелии детском.  
где Гавриил, небесный генерал, Давида молодого уверял:

лишь певший об увиденном впервые снять цепь врожденную умеет с грешной выи  
одним движением - и в тесном вещем сне зубами скрежетать без помощи извне

## ЭЛЕГИЯ ДЕВЯТАЯ

зацвела конопля дозревает мак  
а подумал о будущем и обмяк  
и зашелся кашлем от сигареты  
различив за безлицею синевой  
осторожный и жалобный голос твой  
повторяющий что ты где ты

распахнется при черной свече зрачок  
молоку на смену придет обрат  
станет страшно и тихо-тихо,  
лишь под утро в углу затрещит сверчок  
таракану друг и цикаде брат  
подзывая свою сверчиху.

потемнеет пристань невдалеке  
где спустился бы в лодку с узлом в руке  
раскулаченный, только пешим ходом  
бормотать ему по водам чужим  
над которыми сириус недвижим  
истекает бесплотным медом

полно хвастаться кожаным ярлыком  
на княжение – певчих сверчков на корм  
игуанам и мелким змеям  
размножают – и светимся мы во тьме  
и встречаемся как не в своем уме  
и прощаемся как умеем

## ЭЛЕГИЯ ДЕСЯТАЯ

отсидели за школьною партой возмужали в родной стороне  
затхлый запах свободы плацкартной кружит бедную голову мне  
и играет в граненом стакане счастье странника спелый агдам  
и дошкольники машут руками уходящим на юг поездам

и еще я студент не добытчик а страна за моею спиной  
набивает ивановский ситчик полыхает травюю степной  
тянет сети работает то есть про железнодорожный рассвет  
сочиняет стучащую повесть но у времени совести нет

счет идет на такие секунды что и выбора нету прости  
не замай темнохвойной пицунды моря в гаграх и праха в горсти  
предвечерний покоится с миром не резон уже и недосуг  
воскресать молодым пассажирам поездов уходящих на юг

## ЭЛЕГИЯ ОДИННАДЦАТАЯ

когда адам отстраивал содом  
и любовался собственным трудом  
телеги с черепицею скрипели  
по глинистой дороге, мастерки  
сновали, словно ласточки, легки,  
молчали плотники, а каменщики пели.

в чем смысл творенья город Расскажи  
десятники свернули чертежи  
грядущее плотнее и бесплотней  
охотник на оленей лжец кузнец  
и ростовщик и мельник наконец  
обнявши жён справляют день субботний

один адам на ложе земляном  
скорбит и размышляет об ином  
спи старец спи пускай тебе приснится  
красавец Блок (уволенный рыбак)  
с медовой папироскою в зубах  
и бумазейной розою в петлице

## ЭЛЕГИЯ ДВЕНАДЦАТАЯ

И стартовал бы с чистого листа,  
чтоб стала ночь прощальна и проста,  
ан не выходит. Грустно. Тараканы  
под плинтусом. Зима. Метаморфоз  
не жалуем, ни в шутку, ни всерьез,  
засим (привет, Лебядкин!) и стаканы

сдвигаем с тусклым звоном. Не хотим,  
но кожа превращается в хитин,  
а руки-ноги – в лапки, и свобода  
сужается, как довоенный мир,  
до точки, до одной из черных дыр  
в развалинах живого небосвода.

А тараканы знай шуршат, шуршат,  
кот ловит перепуганных мышат,  
бездомный муж на вентиляционной  
решетке, в древний кутаясь тулуп,  
пьёт из горла. И песня льется с губ,  
безмолвная, как пруд пристанционный

из Саши Соколова, с трын-травой  
и радугой бензиновой. Постой,  
на пышный град в убогой облицовке  
из жженой глины - оглянись! Жена  
с тележкой бредет, обожжена  
безумьем. Ни завязки, ни концовки.

Тем и скушна поэзия, та chère,  
что дышит только светом горних сфер  
(шучу). Сужаясь от избытка чачи  
(как бы зрачок), за истину не пьет,  
невнятицу бесшумную поет.  
И рад бы изменить ей, но иначе -

не смог бы, нет. Прощальна и проста,  
снимает тело мертвое с креста  
и, тихо прихорашиваясь, плачет.